

12.2000

Китайский - Владимир Борисович



Александр Митта

У нас был непростой курс. За одним столом сидели Андрей Тарковский, Василий Шукшин. Тарковский был круглым отличником, Шукшин самым усердным — с утра до ночи репетировал во всех студенческих работах. Но больше всего надежд преподаватели возлагали на тихого и скромного Володю Китайского. Общее мнение было, что он-то и скажет новое слово от своего поколения. Он был поэтом не в том смысле, что сочинял стихи в рифму, у него был поэтический взгляд на жизнь. Чистый и детский. Рядом с ним я чувствовал себя закоренелым циником. Как-то странно, что эта чистота не выглядела глупостью. Но когда пришла пора распределяться на дипломные работы, естественно, что Шукшин, Тарковский, Китайский получили распределение на "Мосфильм". И встреча с реальностью студии для всех была как удар обухом.

Шукшин написал свой сценарий "Из Лебяжьего сообщают..." и провалил свою первую постановку. Фильм оказался беспомощным, его даже не взяли в прокат. У Тарковского был интеллигентный поэтический сценарий "Каток и скрипка", но он получил в худруки режиссера Журавлева, относившегося к Тарковскому с нескрываемым презрением, потому что сценарий казался ему полной чуждой. Про себя этот режиссер заявлял на художественных советах: "Я горжусь тем, что в самые трудные годы родина доверила мне разоблачать и наказывать врагов народа". Трудные годы — с 34-го по 37-й. Тарковский яростно отбивался от всех его поправок и замечаний. Но это были времена оттепели — 60-й год, и худрук ни посадить, ни выгнать с картины строптивого подопечного не мог. Молодые редакторши азартно защищали Тарковского, так что он не был одинок.

У Китайского был дивный сценарий "Причал". Написал его Гена Шпаликов. Почти сорок лет он считался потерянным и только два года назад его случайно нашли. Это поэтическая история с нежными тонкими настроениями, чистой, хрупкой любовью. Я завидовал ему. Но постановки самостоятельной Китайскому давать никто не торопился, его направили работать в съемочные группы — ассистентом, вторым режиссером. И он до ушей нахлебался мосфильмовской прозы, попал в глубокий стресс и кризис. Я, помню, говорил ему: "Принимай это. Это твоя среда на всю жизнь". Я, помню, он отвечал: "Я не могу этого принять, а ничего другого у меня нет". Его месяц за месяцем обманывали, запуск переносился, и когда, наконец, через полтора года появился приказ о начале работы по фильму, у него не оказалось сил. Он пошел в лес, вынул из чемоданчика чистую одежду и повесился. Для всех это был абсолютный шок. Выяснились какие-то личные проблемы, но моя точка зрения, что у него не было запаса прочности, включающего в себя не только мужество и волю, но и горькую трезвость, некоторый цинизм и веру в то, что так или иначе, все можно преодолеть. Он был не единственный, кого сломали проза и будни нашей нелегкой работы. Люди спивались, разменивали способности, теряли надежды. Китайский был максималистом. Я много раз думал: если бы он преодолел этот кризис, встал бы он на ноги? И не могу дать ответа. Я видел, как яростно сражался со своими оппонентами Тарковский. Шукшин бросил "Мосфильм", перешел на студию Горького и снял там картину "Ваш сын и брат", которая его прославила. Все мы отчаянно сражались. И через сорок лет я не знаю другого способа добиваться цели в нашем деле.

Юлий Файт

Небольшого роста, худой, с угловатой резкостью движений. Удлиненный треугольник смуглого лица, черные прямые волосы. Взгляд узкий, темных, сильно косящих глаз иногда быстр, насторожен, иногда сосредоточенно замирает, обратившись внутрь себя. Таким мне запомнился Володя Китайский 1954 года, при поступлении во ВГИК.

Думаю, при наборе мастерской Михаил Ильич Ромм экспериментировал. Кроме иностранцев (два немца, грек, кореец) и наших по направлению из республик, было набрано человек пятнадцать, и среди них четверо семнадцати-восемнадцатилетних, прямо из школы. Володя Китайский из Новочеркасска, живший у тетки сирота (как потом выяснилось, при живой матери, обитавшей в Горьком), Юра Сааков, полноватый фантазер-формалист (кажется, москвич), приехавший из Узбекистана Дамир Салимов, Дима, и азгешный, сын известного киноактера Андрея Файта, вполне легкомысленный московский юнец.

Пожалуй, эксперимент не слишком удался. На фоне творческих достижений и славы Васи Шукшина и Андрияна Тарковского наша четверка выглядела слабо. Но тогда, в пятидесятые, четвертое, сложилось очень своеобразное сообщество очень разнообразных личностей,

Ничего не будет,
ничего.
Ни ее не будет,
ни его.
Ни кола не будет,
ни двора.
Будет мгла. И будет —
только мгла.
Кто Христу, кто Будде...
Для чего?..
Все равно — не будет
ничего!

Уходя не хлопайте дверьми!
Это неприлично и не тонко...
Между нами, взрослыми людьми,
лишь забавны выходы ребенка!
Очертясь, в бесчувственность таша,
не жалейте счастья домочадцам!
Уходя, не следует прощать.
Не рекомендуется прощаться.
Самый дальний путь — не долгий путь!
Уходя, не будьте слишком строги,
нам, оставшимся, кому-нибудь
суждены такие же дороги.

Я книжку дивную нашел
весьма старинного издания.
Язык изысканно тяжел,
и в каждой фразе расстояние, —

от исповеди до бесстыдства,
от сладостных телодвижений
до гибели. До тех страниц,
где возникает сожаленье...

Где немота, как тот исход,
невывразимо, грустно, валко
пересекает горизонт
с торжественностью катафалка.

Я вижу: старец Иохим
прозрачным, как воск, перстами
приподымает балдахин,
расшитый синими цветами.

И взоры двух, лежащих там,
полны безумия и блеска,
и смерть их предала чертам
нетленности италийских фресок.

Все — тайна, сумрак, полусон...
Но разрушаются границы —
их тел победоносный стон
летит с плачевной колесницы!

Так завершился эпилог.
Но далее была винетка:
лукавый путь трубят в рог
и машет мировую веткой!

Я уйду в хорошем настроении
Я как ребенок вами умилен.
А вы — узнав — простите мне растерянность,
что я, прощаясь, не назвал имен.

Я уйду, а вы пока останетесь...
Ну дай вам Бог, ну дай вам Бог всего!
И к вам почти не ощущаю зависти,
И уйду, пока не рассветло...

естественно, делившееся на кружки и компании, где каждый стремился определить свою индивидуальность, доказать свою значимость.

Володя Китайский самолюбив до болезненности, гордо не отступал ни перед какими трудностями, даже физическими.

Занятия физкультурой на стадионе. Надо пробежать пару кругов за вполне доступное время. Володя до тех пор пытается держаться впереди, пока не падает, и ему делается дурно (вроде ли он когда-нибудь хорошо питался). Позже, в военных лагерях, на марш-броске он хватает тяжелый ртотный пулемет и тащит его под насмешливыми взглядами здоровенных Перова и Бескодарного. А уж когда пришлось драться, он так лупил того же Бескодарного, бывшего вдвое крупнее и в полтора раза старше него, что пришлось оттащить. Примеры вполне примитивные, но показательные.

О внутренней, душевной жизни Володи (в том, что она была серьезной и напряженной, у меня нет сомнений) не скажу ни слова, потому что не знаю. Причина проста.

Первый год в мастерской — время знакомства, узнавания, поисков человека, с кем можно было бы общаться и вместе работать. Очевидно, по близости возраста, Володя однажды подошел ко мне, протянул несколько листов и попросил прочитать его стихи.

На следующий день он встретил меня восторженным взглядом. Со свойственными мне в то время снобизмом и бестактностью (стихов не помню совсем) я заговорил об отглаженных рифмах, правилах стихосложения и русского языка.

— Наверное, это все, что ты знаешь о поэзии, — сказал Володя, забирая листки. Больше никогда он не заговаривал со мной ни о чем сколько-нибудь значимом. Прошло почти полвека, а мне каждый раз при воспоминании об этом стыдно.

Я не знаю, чем жил Володя следующие шесть лет, хотя иногда работали вместе, посто-

Фамилия

Китайский

Имя

Владимир

Отчество

Борисович

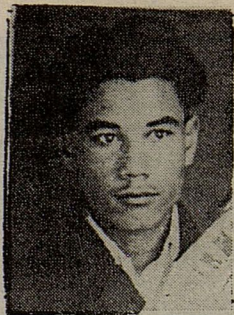
Протокол № 7

от

10/11

1954 г.

(личная подпись)



М. П.

Подпись
ответственного секретаря
приемной комиссии

Инициалы секретаря

Стихи, которые «ЭС» предлагает вниманию читателей, были найдены в прошлом году Лидией Федосеевой-Шукшиной в бумагах своего покойного мужа Василия Макаровича Шукшина. Стихи эти самоценны сами по себе, но за ними встает и личность их автора, прожившего совсем короткую жизнь. О нем — Владимире Китайском — вспоминают его однокашники-вгиковцы 50-х годов.

Любимая, единственная, краткая!
Я рад простить вам все, что есть простить!
Не забывая, делать физзарядку,
Не забывайте иногда грустить.

О том, что певчих птиц так мало в городе
и слишком много щебня и стекла,
о том, что мне невероятно холодно
без вашего щедрого тепла.

Теперь вы мне поверите?
Поверьте!
Я счастлив, что отчасти с вами квит,
что я любил вас — видите — до смерти,
как в детстве обещаются любить.

Их было трое.
Они молчали.
Не говорили
И не стучали.
Их было трое...

И ты курила
с оттенком скуки,
и ты глядела
себе на руки —
вот так от скуки,
так, между делом...
Их было трое.
Они вставали,
сдвигали стулья
и брали шляпы.
Не протестуя...
Поскольку вряд ли
их было трое...

И ты, оставшись,
сняла трубку
и говорила
почти небрежно,
почти бесстрашно,
почти не скуко:
— Ты не приедешь,
ты не приедешь...
Тебе не нужно,
тебе не нужно...

янно общались на нормальном студенческом уровне. Казалось бы, очень успешно у Володи завершение обучения — запуск дипломной работы (вместе с Хельмутом Дзюбой) на "Мосфильм", прелестный сценарий Шпаликова "Причал", и вдруг — самоубийство.

Слухов и предположений о причинах трагедии было множество, не собираюсь их обсуждать.

Мне кажется, этот юноша приехал в Москву в поисках Поэзии и Правды. Не найдя их, выбрал петлю. Бог ему судья.

Александр Гордон

Володя Китайский был нежным, тонким человеком, семнадцатилетним юношей, темноволосым, смуглолицым, кареглазым — бабushка его была якуткой, — с его восточной внешностью было связано происхождение его фамилии.

Родом он был из Новочеркасска, бывшей столицы Войска Донского. На всю свою короткую жизнь полюбил Володя густозеленые тенистые улицы, заросшие тополями и акациями, одноэтажные домики и знаменитый собор на холме над обрывом. Любовь к провинции глубоко жила в душе Володи, и, может быть, отсюда выросли его вкусы и пристрастия. Он любил дореволюционную, так называемую декадентскую поэзию, и вместе с нею родные места, дома со ставнями и уличные колодцы, сохранившиеся от старых времен.

Он был поэтом по призванию и не переставал им быть, уча на режиссерском факультете ВГИКа. Даже наши учителя в те времена отдавали предпочтение авангардистской поэзии и с удовольствием иронизировали над Игорем Северянином. А Володя обожал "Маленькую элегию" Северянина, зная, что идет наперекор установившемуся мнению.

И слезы капали беззвучно

Жизнь и сцена

329



В соседних окнах
качались шторы,
в соседних окнах
кончались споры,
переговоры
переносились,
постлап постели,
там свет гасили.
А ты сидела...

Апрель

Скоро будет трава.
У тебя отрастут волосы.

Я буду ходить босиком,
как Христос...

Скоро станет тепло,
когда можно лежать обнаженной,
открываясь солнцу
и взорам моим...
Наивно,
как белые камни вдоль берега...

Нельзя быть такой болезненной,
Право!
Надо больше думать о лете,
о розалиях,
о сандалиях,
о поэтах...
И о том, что я ни черта не смыслю
в поэзии.

Апрель

А когда он поздно возвращался,
не продавши этот агрегат,
то к нему никто не обращался
из-за занавесок и оград!

Но однажды ночью после пьянки
пресловутый Лешка-Сукин сын
(восемь раз бежавший из Таганки)
увести ботинки сообразил...

А поскольку это было летом,
коридор минув босиком,
Человек занялся туалетом...
кто же с этим делом незнаком?

Дверь открылась с первой же попытки...
Прямо на полу лежал матрас...
Лешка взял зеленые ботинки
и оставил старый керогаз.
Он уже на утро был на рынке.
Там его никто не упрекал,
только те зеленые ботинки
ни один чудак не покупал!

И когда он поздно возвращался,
торопясь без вырочки назад,
то к нему никто не обращался
из-за занавесок и оград!..

С этих пор на каждой вечеринке
вам расскажут — был бы интерес —
Человек — Зеленые Ботинки
навсегда с той улицы исчез...

И еще печальнее картину
нарисуют где-нибудь в конце —
с этих пор у Сукиного сына
появились слезы на лице!

Кто у тебя в гостях
Сегодня вечером?
Не про меня ль острят
сегодня вечером?
А! Я тебе затем
сегодня вечером,
чтобы запасом тем
их обеспечивать!

За сколько сот растрат
сегодня вечером
они тебя простят
сегодня вечером?
Но ты же можешь знать —
ты опрометчива —
насколько ложен взгляд
сегодня вечером!

Что эти люди пьют
сегодня вечером,
что эти люди лгут сегодня
вечером?
Кому из них — отсель
сегодня вечером?
И с кем из них —
в постель
позже вечером?

Ты будешь с ним проста
сегодня вечером...
О! Путь от глаз до рта
и до предплечья!..
За сколько сот обид,
за разноречия
он в эту ночь простит,
что после вечера!

А мне вокзал и порт
Сегодня вечером,
и телеграфный код
сегодня вечером.
Мне на тебя копить
противоречия
и так тебя любить
как и до вечера!

16 августа

Добрый путь вам, товарищи,
Постою на мосту, —

добрый путь приезжающим
в милый город Москву.
В этом городе умников
Вас, наверно, не встретят,
в этом городе сумерки
не вечернего цвета.

Из-под Омска и Винницы
вы, питомцы гостиницы
из Хивы и Калуги вы,
подивитесь в испуге вы:

Там студенты все вещи,
и от скуки и протруд
длинноногие женщины
много курят и пьют...

Что ни вечер, там празднуют
именины или смерти!
Да неминут соблазны вас
в незабвенной Москве!
А вернетесь вы к луковцам,
тракторам и чернильницам.
Там однажды аукнется —
сердце трижды откликнется!

Прощай, моя любовь, прощай.
Меня настиг счастливый ветер.
Веселый и довольный край
Я в дымке призрачной приметил.

Пора. Подъемлют паруса,
еще толпятся пассажиры,
и к нам доносятся голоса
из оставляемого мира.

Но мне уже не различить,
не отличить тебя от прочих.
Когда потеряны ключи,
что толку в множестве цепочек!

И я твержу тебе — прощай,
моя любовь, моя живая.
Дай бог нам вспомнить невзначай,
не дай бог вспоминать — желая.

Летят лучи, колебля снасть,
и преломляясь на бушприте,
как будто достигают нас
еще связующие нити.

Прощай теперь на много лет.
Прощай. Люби свою свободу.
И в отшатнувшуюся воду
Я твой роняю амулет.

Нынче память помертвела...
Вспоминаю белый город.
Белый город и старушку.
И старушку тоже в белом.
Я тогда еще был молод,
я исследовал лягушку,
чтоб при помощи пинцета
знать, что есть, чего в ней нету.

Мне старушка говорила,
говорила:
— Мальчик милый!
Не убий.

В каждой твари — божья сила,
божий разум и терпенье,
в замысле и исполнении
блеск невиданных стихий...
Не убий!

Что я мог тогда ответить?
А она мне говорила,
как Ты шел, велик и светел
меж склоненных мерно копий,
как Ты шел долиной смерти,
улыбаясь исподлобья.
И песком швырялись дети —
по глазам! И вопли женщин —
по ушам! А ты застенчив,
и прохладными перстами
осеменяешь их с креста!

Я давно в тебя не верю,
Я нигде тебя не встретил,
нынче знают даже дети,
то, что не было Тебя...

Белый город, где ты, где ты?
В нем старушки открывают
плотно запертые двери
для неистовых мальчишек
твердо знающих из книжек
то, что не было Тебя.

Декабрь

крату Владимиру Китайскому и мне, уроженцу рудника Несветай, где в центре рядом с моей школой высилась шахта имени ОГПУ ("О Господи, Помоги Убедать", — как у нас расшифровывали), шагнуть навстречу друг другу, особенно после того, как я ему сознался, что люблю стихи и пописываю, ни в коей мере не считая себя поэтом. Вскоре он взял мои стихи, подарил несколько своих. Стал говорить об альманахе вроде имажинистской "Гостиницы для путешествующих в Прекрасное". Альманах должен быть общежитским, рукотворным. Стихи для него я могу отпечатать сам на машинке у Виктора Архангельского, который слагает музыку на гитаре и проживает с мастером пантомимы Юрием Ягодинским, пытающимся одолеть ритм японских "танки". Есть в общежитии талантливый человек из Свердловска — Наташа...

Наташа, которой суждено стать мастером мультипликации, она же "Натали, мой милый ангел", ожидает моего выхода из этого царства смерти. Она не сомкнула со мной глаз до рассвета с тех пор, как получено было известие о смерти Володи — я, чтобы отвлечь ее от печальных видений, обращался даже к Апокалипсису, хранившемуся у Володи Рытченкова (в наши дни он станет жертвой киллера). Ее именем в интерпретации Володи Китайского утешал и заклинал общежитский бродяга Василий Шукшин свою овдовевшую сестру Наташу-Таленьку: — "Натали, мой милый ангел Натали!"

Таленька, это строки стихов моего безвременно погибшего друга. Милый ты человек, Таля, как глубоко содрогнулось мое сердце твоим горем, как неповторимо я почувствовал дыхание смерти...

Мы все где-то ищем спасения. Твое спасение в детях. Мне — в славе. Я ее, славу, упорно добиваюсь. Я добьюсь ее, если не умру раньше".

...Но лучше мы споем про "город умников" и как здесь "длинноногие женщины много курят и пьют" (эту песню Китайского про Москву, где "что ни вечер, там празднуют именины или смерти", знали многие в общежитии под пикирование скрипки Виктора Архангельского) или "Последний бал давали во дворце", или "Уходя, не хлопайтесь дверьми", или совсем уже печально-пророческое "На рассвете к розовой березе приходил усталый человек..." Зачем он выбрал дерево неподалеку от станционной платформы? Зачем напоследок обратился к нам с такими словами: "Последний бал, последний Арлекин. Маэстро, не грустите, и мановением руки приблизьте утро смерти".

В тот поистине фатальный день я был обречен на истинно театральные муки — с балом, поединком и электрической каретой. На эти театральные судороги, от которых я пытался отвертеться, меня обрел сокурсник-албанец Фагу по вердикту Герасимова: "Сопровождайся? Быть ему Печориным".

И согласно вердикту, назначенному в мастерской на вечер этого дня, я, глядя из окна электрички на группу пришедших проститься с покойником, тиснет пытался вспомнить лермонтовский текст. Прости, Володя, помоги мне: так я обращался к другу, которого увезет родственница в новочеркасскую землю — и я увижу эту могилу зимой.

"Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели родился?..." — шепчет мне Лермонтов. Тело мое деревенеет, я согласно терминологии Герасимова "проглотил аршин", я бесчувственное дерево, на котором можно повеситься, — интересно, догадывалась ли Тамара Федоровна, что я шагнул на паркет мастерской прямо к похорон? — я не спросил ее об этом, когда она несколько дней спустя пригласила к себе домой и после разговора о смысле бытия сама Нина Арбенкина из лермонтовского "Маскарада" вручила мне иконку, которую я водрузил на книжной полке над моим общежитским ложем, установленным на кирпичиках, и которую увез тайно поклонник Китайского в среднеазиатскую республику — он был кинорежиссером, обреченным на автокатастрофу.

"Что ж? умереть, так умереть! потеря для меня небольшая: да и мне самому порядочно уже скучно. Я — как человек, зевающий на бал, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова... прощайте!..."

Таков был монолог, завершивший этот день огромной предельской коровьей слезой, — аллергической слезищей, рапидом рассыпавшийся по паркету.

И все-таки истина страстей была — и я правильно прожил свой театральный кусок.

Публикацию подготовил
Юлий ФАЙТ

голь, Блок, революционные страсти. Конечно, много стихов было прочитано — и Володиных, и классических. Говорили и о советской поэзии. Помню его восхищение словами песни "Все выше, и выше, и выше...". Строка "А вместо сердца — пламенный мотор..." особенно нравилась Володе. "Вместо сердца, нашего, живого, человеческого сердца — мотор! Мотор, машина, но "пламенный мотор"!".

Разговаривая о людях искусства, я как-то употребил выражение "тонкая душевная организация" — была у меня некая нахватаемость в выражениях, сам не знаю, откуда они ко мне прилипали. Володя поднял на меня глаза и замер. Фраза поразила его, и он тут же отнес меня к людям такого типа. Я был польщен, а потом замечал, что Володя часто пользовался этими словами, которые для него, действительно, многое значили, отражали его сущность.

В Крыму, в октябре, мы завершали натурные съемки. Из мрачного, обугленного Калининграда мы попали на набережную Ялты, где заканчивался бархатный сезон. По вечерней набережной, залитой огнями, под шум прибоя прогуливались звезды советского кино, в чьи ряды влились и снимавшиеся в картине Хейфица Инна Макарова, Алексей Баталов, Борис Чирков. А мы сразу же по приезде побежали купаться в море, которое Володя видел в первый раз. Холодная вода быстро остудила пылкое романтическое чувство к "свободной стихии". Мы жестоко простудились. Еще целую неделю Володя охрипшим голосом читал стихи Володина — он мечтал съездить в Коктебель. В Ялте нас застала оглушительная новость — был запущен первый советский спутник. Известие об этом застало нас в музее Чехова. Помню наш душевный подъем, чувство гордости за страну. На какое-то время современность торжествовала над музейными ценностями, даже Че-

хов отошел на второй план.

В это же время на экраны Ялты вышел фильм "Летят журавли", и Алексей Баталов, снимавшийся в нем, попал в эпицентр восхищения и поклонения. Нам с Володей казалось тогда, что наступили неслыханные перемены, что перед всеми нами открылись невиданные рубежи, и кто мог тогда подумать, что через три года Володя добровольно уйдет из жизни.

После Нового года снова началась учеба — лекции, репетиции, подготовка к съемкам курсовых и дипломных фильмов. Люди у нас на курсе были разными. Шукшин, например, наш сибиряк-самородок, с каждым месяцем наливался мастерством актера, писателя. Он был сам в себе, сосредоточен и загадочен, до тех пор, пока в каком-нибудь этюде, отрывке не разряжался блеском актерского дарования. Тут он размигался, становился доступным и общительным. Тарковского в это время можно было видеть нервным, напряженным, заряженным электричеством, как лейденская банка — была у него в это время влюбленность без взаимности.

Помню разговоры и о любви христианской, об Иисусе Христе и Иуде Искариоте в духе Эрнеста Ренана, который оправдывал Иуду как орудие, инструмент божественного замысла. Смерть Иуды сопровождалась в наших разговорах подробностями — веревочная петля, осина. Мы как будущие режиссеры ярко представляли и эту осину, и эту петлю. И как же я был потрясен, когда узнал, что Володя ушел из жизни, в точности скопировав смерть Иуды: та же петля, та же осина в подмосковном лесу, недалеко от Сергиева Посада.

Я не знаю, что было причиной Володиной смерти, но уверен в том, что если бы он остался в живых, ему предстоял бы тяжкий крестный путь и в жизни, и в советском ки-

нематографе. Потому что он был бескомпромиссным человеком, а таким всего тяжелее.

Юрий Швырев

Высокая стена с вертикально разверстыми зевами домовин — кажется, что здесь даже крышки исторгают печально приглушенные гудки электричек.

— Рост какой?

Вопрос застает меня врасплох. Я своего роста не помню.

— М-м-мой?..

— Да твоего товарища. Покойника.

Володя Китайский имел рост, примерно... — я простираю ладонь над головой, а мужичок ведет меня к домовинам, и я продолжаю держать руку в непонятном приветствии Госпоже Смерти, вспоминая при этом пастернаковское (в прошлом мае я умудрился тайком побывать на его похоронах): "В лесу казенной землемершено стояла смерть среди погоста, смотря в лицо мое умершее, чтоб вырыть яму мне по росту".

— Ну-ка, Китайский-Турецкий, раз-два, взяли.

Так в качестве прислужника смерти я оказался с мужичком у ступенек, ведущих в нечто подземное с туманными шарами тусклых лампочек, и вот я почти в бессознательном состоянии помогаю поставить тяжесть на мраморную лавку...

— Ладно уж, — сочувственно говорит мужичок, указывая на светлое пятно выхода. — Я сам уж справлюсь... как-нибудь... Эх ты, земляк...

Произнес он это уничижительно, как "червяк", — видно, я успел ему сказать, что мы с Китайским земляки, ибо Новочеркасск находится в 45 километрах от моего Новошахтинска. Это и помогло общежитскому аристо-